

И непреходящая слава его в том, что он цитировал силу своего таланта не для разжигания страстей и подстрекательства, но только ради единения людей.

Стефан ЦВЕИГ.
«Триумф и трагедия Эразма Роттердамского»

ЧТО БЫ вы сказали, увидев самолет, приземляющийся на огромной скорости по бездорожью поля; машина на ходу разваливается в куски, но пассажиры... с умиленным обсуждением присуждение премий Нобеля, Букера и «Триумф» деятелям литературы и искусства? Нет, в отличие от иных я никогда не возражал против института премий, но... Чем награждать тех, кого уже нет, — памятью или забвением? Увы, слабеет наша память в неравной схватке с таким временем. И сегодня мы отрекаемся от тех, кто питал и спасал душу народную вчера. Разрезали на куски то единство, которое они сплели. А что в итоге? Да, национальное — великая сила в искусстве, но только тогда, когда работает по ориентирам общего. В этом весь «секрет успеха». Разрезав единое поле культуры, на котором «пахали» плечом к плечу дети разных народов», разорвав нить времен, мы обрекаем и литературу на конвульсии, которые трудно признать жизнью.

Сегодня уже мало кого интересует то, чем жила литература, писатели наши вчера. Что, например, русский Василий Шукшин с надеждой смотрел фильмы грузинских мастеров, а грузин Нодар Думбадзе опирался на опыт русских — Распутина, Шукшина... Что их объединяло? Незримое магнитное поле культуры, вне которого нет истинного художника. Куда же оно, это поле, исчезло, куда погрузилось, на какое дно ушло, подобно граду Китежу? Да и ушло ли? Может, мы ушли с него? По-поводу хочется поставить старый вопрос: с кем вы, мастера культуры, — с политической или с культурой? Пусть и «советская литература», и «социализм» давно «уже за ходом», и многих писателей с нами нет, но созданное ими вчера — это наша общая почва, общее духовное богатство. Приятно нам это или неприятно, но все, что пишется ныне, имеет цену не от Нобеля или Букера, но в соотношении с тем, что писалось тогда. Но как соотносить, если всем не до того, если, скажем, от Шукшина осталось только имя как заклинивание

или козырная карта, а от Думбадзе, которого Россия любила горячо и нежно, не осталось, кажется, даже имени? А ведь их надо перечитывать, переосмыслять и заново переживать. Нет, не зря Н. Думбадзе, подводя итоги пережитому, говорил: «Вот это главное: слушают ли тебя? Слышат ли?» Этого писателя слушали с охотой, но слышали далеко не все.

Развитие творчества Н. Думбадзе шло отнюдь не на «параллельных» курсах с развитием критики. И вот уже в конце своего пути писатель категорично отрицательно оценил критику: «...если бы я следовал поучениям критики, я просто не стал бы тем, кем стал». Закономерен вопрос: а способны ли мы уже сегодня понять и объяснить этого писателя — ведь не прошло и десятилетия со дня его смерти? Впрочем, бывают времена, когда один год идет за несколько.

Рожденная в борьбе с цензурой и самоцензурой «зашифрованность» литературы 60—70-х годов была, конечно, особой у каждого большого писателя. «Зашифрованной» была и проза Думбадзе, при всей ее внешней неприязнительной естественности и простоте. Более того, можно было бы утверждать, что именно «естественность и простота» были особенным, как раз для него характерным шифром, если бы, скажем, нельзя было сказать то же самое и о грозе его современника и сверстника В. Шукшина, той глубоко продуманной прозе, которую иные критики наивно именовали «неотредактированной жизнью».

Даже самые своеобразные художники, когда они живут и работают в одно время и в одной стране, не только отличаются друг от друга, но в чем-то существенном обнаруживают свое тайное родство. Общим у Н. Думбадзе и В. Шукшина было использование «неотредактированной жизни» в качестве художественного шифра своих идей, хотя жизнь эта была у них разной. Диалектика родства и различий двух выдающихся национальных художников позволяет многое понять и в том времени, и в самих художниках. Не очень заметное при их жизни теперь становится все более очевидным: это были родственные души, но один жил (в буквальном и переносном смысле) на севере, другой — на юге страны.

Но северянину «сидел» юг, а южанину — север. Они и признавались в

этом. Когда Шукшина спросили, каким видится ему («и снится ей все...») будущее отечественного кинематографа, он ответил без колебаний: «О далеком времени не берусь говорить, а в ближайшем будущем, думаю, он будет тяготеть к манере, в которой сделан, например, грузинский фильм «Жил певчий дрозд». Прекрасный фильм! Какой-то и грустный, и светлый вместе...» И об актере Серго За-

«Запом читал русскую классику», «Гоголь — чудо литературы». «Потрясла меня когда-то стихи Некрасова, его — поэзия Пушкина — ценю выше всех в русской поэзии» — словно эхом откликнулся Думбадзе. «Больше всего на свете хотел бы писать, как Чехов». И о современниках своих: «У меня после чтения «Уроков французского» возникло ощущение чужего родного и близкого. Будто я сам пи-



карнадзе говорил Шукшин: «Серго Закариадзе — до боли ясный, светлый грузин, бесконечно дорогой мне, русскому человеку...» Наконец, однажды Шукшина прямо подошел к Думбадзе, когда заговорил об авторе фильма по роману «Я, бабушка, Илико и Илларион»: «А какая великолепная режиссура у грузин — Иоселиани, Абуладзе...».

Да, под ризой сыпучего снега снилась Шукшину Грузия, грузинские таланты и души, грустные и светлые, грузинские фильмы — «повести о несостоявшейся судьбе, в которой никто не повинен, кроме, может быть, собственной доброты». Так говорил Шукшин, видя у грузинских дроздов то, что близко ему само — ведь в то время он как раз писал свою повесть о несостоявшейся судьбе, свою «Калину красную».

сал и в распутином мальчишке узнавал себя — в его упорстве, в отношениях со старшими...»

А вскоре после неожиданной смерти Шукшина Думбадзе заговорил о нем как о представителе великой русской традиции: «Я читал почти все произведения Василия Макаровича Шукшина и смотрел почти все его фильмы и спектакли. Это очень большой писатель... Это ген Гоголя, Щедрина да и Достоевского, если хотите, пробужденный в 60—70-х годах нашего века. А пробудился он потому, что слишком много накопилось за последние годы той руды... и почти некому было ее добывать». Спустя десятилетие Думбадзе подчеркнул, что ему было особенно важно в Шукшине: «И у шукшинских героев я особенно ценил твердость, умение стоять на своем. Как в «Калине красной».

ИТАК, абстрактные вечные «качества» — или же поэзия и правда «русской березы»? Как Алтая и «грузинский янтарь»? Както, высоко отзываясь обострой и пронзительной статье одного московского критика, Думбадзе тут же отметил, что некоторые его суждения показались ему «несколько наивными», ибо критик игнорировал национальный характер героев его прозы, прикладывая к ним «универсальные литературные мерки». Думбадзе подчеркивал: «Я — о национальном в нашем искусстве. Оно, в конце концов, определяет очень многое... Каждый по-своему смотрит на вещи. Но я плохо себе представляю, чтобы о русской литературе — и классике, и современной — кто-то судил, не имея постоянно в виду, что она именно — русская».

Последнее слово выделено самим Думбадзе, который ценил своеобразие любой нации. И это нисколько не противоречило тому, что вся мировая литература, включая русскую и грузинскую, была для него единым литературным полем.

Сегодня в это, пожалуй, уже трудно поверить, но так было — и это наше общее прошлое, общая история. Это было единое многонациональное литературное поле. На первый взгляд, вполне благополучное, но, как выяснится позже, подспудно «заминированное». Я с горечью вспоминаю ошеломляющую обструкцию, устроенную на съезде несколькими лучшими грузинскими писателями честнейшему русскому реалисту Виктору Астафьеву.

Тем более сегодня полезло диалектически «подсветить» судьбу писателя Думбадзе судьбой писателя Шукшина. У них было не только всеобщее общее, но и общее личное: почти один год рождения (Шукшин на год моложе); необоснованно репрессированные отцы (расстреляны в 30-е годы), пережитая в детстве великая война, двойная смерть «во имя всех народов», сначала физическая, а после и духовная — разоблачение «культы личности» Сталина; хрущевская «оттепель», а затем беспробудный период «застоя», борьба с которым стала главной движущей пружиной творчества всех лучших писателей страны, и, наконец, сердца обоих писателей не выдержали земных перегибов: оба скончались преждевременно, под катком в своем бою, не дожидаясь чужих (Думбадзе) или чужих (Шукшин) лучших вре-

Шукшин так и не увидел «света в конце туннеля». Это приводило его в ярость и отчаяние, он и снимал то свою «Калину красную» как личную безысходную трагедию. Думбадзе же никогда не покидала истинно христианская надежда, даже уверенность в конечном торжестве добра — именно это он завещал своим последним романом «Закон вечности».

Это прозвучало стало подлинной идеологической сенсацией. В нем впервые в советской литературе (шел 1978 год) коммунист и священник, образно говоря, протянули друг другу руки для дружеского рукопожатия. На глазах у читателя возникло духовное единение Человека с Человеком, венцом которого стала молитва отца Иорамы за коммуниста-литератора: «Боже вышний! Спаситель наш! Святая дева Мария! Вот лежат перед вами раб божий Бачана Рамшвили и сам не ведает, что он есть сын ваш, душа ваша и милосердие ваше... Не гневайтесь на него за то, что дела ваши творит он от имени других. Не гневайтесь, ибо не ведает он...»

Сегодня писательское дело Нодара Думбадзе видится мне как трудный путь от христианского наброска («Я, бабушка, Илико и Илларион») к христианской картине («Закон вечности»), а его «живой, напряженный внутренний диалог с обществом — лишь вехой в высоком диалоге с Христом, который с самого начала развивался под знаком вечных ценностей. Именно этой глубинной особенностью и объясняется не самоочевидная, но существенная автономность пути писателя от внешних обстоятельств.

«Я — генетический христианин», — сказал о себе Думбадзе незадолго до смерти, на вершине своей славы «советского классика». Но это его признание дошло до нас лишь годы спустя. Идеологам времен «застоя» никак нельзя было допустить, чтобы лауреат Ленинской премии, секретарь СП СССР и член КПСС, «знаменитый советский писатель» публично признавался в своей верности Христу.

А теперь вспомним: где истинно рыдал и покаянно бился о землю шукшинский Прокудин после встречи со старухой матерью? Да у подножия холма, на котором светилась дивная русская церковь! Это было таким же предсмертным признанием Шукшина, прогневавшим на всю страну...

Генрих МИТИН